

## II. Принцип власти

До того времени, когда новейший социализм начал формулировать свою программу, люди не могли вообразить себе общества иначе, как в форме правительственной, т. е. в виде общества, управляемого властью, которой поручено охранять порядок и воздавать правосудие. Принцип этот не изменялся от формы правительства, монархической, аристократической или демократической. В течение веков самые смелые, - самые революционные умы, поработанные предубеждением, что существование правительства в обществе обуславливается самой сущностью общества, никогда не решались требовать чего-нибудь больше перемены правительства; никому не приходило в голову подвергнуть сомнению само правительство.

Ещё и теперь правительственный предрассудок, от которого освободился пролетариат некоторых самых передовых стран Европы, властвует во всей силе над умами рабочих классов Германии, Англии и Америки. О правительстве ещё продолжают говорить: дурно не учреждение, а злоупотребление, и всё пошло бы прекрасно, если бы преобразовать учреждение по воле рабочих: так- то в древности добрый народ говаривал: Зол не король, а министры; ах, кабы король знал, да ведал! ...

Спросите приверженцев авторитарного начала, на чём основана их вера в необходимость правительственной власти, они ответят:

“ «На том, что общество не может обходиться без порядка; на том, что во всяком обществе должны быть люди, повинующиеся и трудящиеся, и люди, повелевающие и управляющие; на том, что индивидуальные способности людей неравны, интересы людей противоположны, страсти их взаимно враждебны, частное благо каждого противоположно общему благу; поэтому нужна власть, указующая предел прав и обязанностей; власть, служащая посредницей для решения столкновений; нужна общественная сила, исполняющая и заставляющая соблюдать мир. Словом, правительство есть принцип и гарантия общественного порядка; так говорит нам и здравый смысл, и природа».

Это рассуждение повторяется от начала обществ. Во все времена, в устах всех правительств оно неизменно; оно повторяется слово в слово, без изменений и в книгах мальтузианских экономистов, и в реакционных газетах, и в манифестах республиканцев. Единственная разница между ними состоит в размере уступок, которые они допускают в пользу свободы; но все эти уступки равно несостоятельны и только придают так называемым либеральным

конституционным и демократическим формам правления, характер лицемерия и фальши, делающей их ещё более презренными.

Разберём же, есть ли государство единственная форма, в которой может существовать человеческое общество; есть ли принцип власти, выражающийся в *законе*, необходимое условие всякой справедливости.

Мы утверждаем, что существует высшая собственная форма и что к ней то должно прийти человечество, вышедшее из дикости и прошедшее эпоху религиозного и политического авторитета; оно должно прийти к ней вследствие того развития, какое в новейшем обществе получило промышленное и земледельческое производство и тех условий, какие созданы этим новым производством для пролетариата

В этой общественной форме нет и помина об определении посредством *закона* отношений гражданина к правительству; в ней *договором* определяются отношения человека к человеку. Человек здесь не поданный, предоставленный произволу государя или капризу закона, в составлении которого он не участвовал и на который он не давал своего согласия; это производитель, свободно располагающий своей личностью и продуктом своего труда, вступающий с другими людьми в договор, которым гарантирует свои права и определяет взаимные обязательства.

В этом новом понятии об обществе идея власти исчезает; власти нет, закона, выражения воли власти, нет; *политического* порядка нет. Его заменяет порядок *экономический* или *промышленный*; принцип власти заменён принципом *взаимности*; люди здесь не повинуются закону, т. е. внешней воле, а соблюдают договоры, свободно обсуждённые и свободно принятые. Этот порядок Прудон окрестил именем *анархии* – «безвластия».

Прежде чем современный социализм дал ясное определение и научное доказательство антигосударственной теории, XVIII-й век угадал часть этой великой идеи, но не нашлось никого, чтобы сформулировать её. Напротив, тот, кто в то время предпринял подвергнуть критике монархическую власть и найти рациональную организацию общества, Жан Жак Руссо, только восстановил правительственную идею, перенеся самодержавие с монарха на народ. Уже самое заглавие, которое Руссо дал своей книге: «Общественный Договор» могло наставить его на истинный путь; но он не понял его смысла.

“ «Установив принципом, говорит Прудон, что народ есть единственный самодержец, что представителем его может быть лишь он сам, что закон должен быть выражением воли всех и тому подобные пышные пошлости, которыми пользуются все трибуны. Руссо вдруг покидает свой тезис и бросается в околенную. Во-первых, на место общей, коллективной нераздельной воли он подставляет волю большинства; потом, под предлогом, что народу невозможно с утра до ночи заниматься общественными делами, он возвращается избирательным путём к

назначению представителей или выборных, которые будут законодательствовать во имя народа и решения которых будут иметь силу законов. Вместо того, чтобы самому непосредственно, лично договариваться о своих интересах, гражданин может только большинством голосов выбирать посредников. Сделав это, Руссо очень доволен. Тирания, кичившаяся божественным правом, была ненавистна; он её преобразовал и сделал почтенной, выведя её из народа. Другими словами, это учёная передержка, узаконяющая общественный беспорядок, освещающая народную нищету во имя народного самодержавия. Притом во всём этом нет и помина ни о труде, ни о собственности, ни о промышленных силах, организация которых составляет цель Общественного Договора. Руссо понятия не имеет о народной экономии. Его программа толкует исключительно о политических правах; права экономического он не признаёт».

Прудон продолжает разбирать книгу Руссо, показывая в ней начало якобинской и конституционной правительственной теории, и говорит в заключение:

“ «Насмеявшись таким образом над читателем и соорудив под обманчивым именем Общественного Договора уложение капиталистической и торгашеской тирании, женевский шарлатан приходит к заключению, что пролетариат необходим, что нужны диктатура и инквизиция».

Руссо был оракулом якобинских революционеров 1793-го, и Робеспьер, государственный, друг попов, восстановитель верховного существа, палач анархистов, был его прямой потомок.

Прудон питает глубокую ненависть к Робеспьеру; видя в нём полнейшее олицетворение принципа власти, погубившего первую революцию. Он посвящает ему несколько страниц, где резкость брани и преувеличения, отступающие от строгой исторической правды, могут привести в смущение читателя, мало знакомого с приёмами автора. Не надо придавать этой резкости Прудона больше значения, чем он сам придавал ей. Он увлекался своей горячностью, и, начиная рассуждать, сам не знал, до каких крайностей увлечёт его полемический азарт. Имея перед собой противника, он устремлялся на него с одной целью - побить его, такое увлечение неизбежно в каждом борце, который, подобно Прудону, действует на кипучей арене ежедневной революционной жизни. С этой оговоркой мы приведём дальнейшие слова Прудона о Робеспьере.

«Когда Конвент *жалкой памяти*, говорит Прудон, принял якобинскую конституцию 1793-го, он отложил приведение её в исполнение до заключения мира. Эта конституция учреждала *прямое правительство*, т. е. постановляла, что закон должен вотироваться прямо народом. Но Руссо в своём *Общественном Договоре* доказал, что прямое правительство невозможно, так как по его системе закон вотирует и власть отправляет большинство; а между тем не согласно с естественным порядком, чтобы большинство правило, а меньшинство было управляемым»

«Далее, он доказал, что прямое правительство невозможно особенно в такой стране, как Франция, потому что для этого прежде всего потребовалось бы уравнивать состояния, а равенство имущества невозможно»

«Сверх того, он доказал, что именно вследствие невозможности соблюдать равенство имущества прямое правительство самое порочное, самое опасное, более всех влекущее за собой катастрофы и междоусобия»

«Он доказал также, что как древние демократии не могли удержаться, несмотря на свои малые размеры и на помощь, какую им оказывало рабство, то тем безуспешнее должна оказаться попытка учредить эту правительственную форму у нас»

«Наконец, он решил, что эта форма возможна для богов, но не для людей»

«Итак, Робеспьер, вернейший ученик Руссо, не допускал возможности практического осуществления конституции 1793-го; он всегда весьма ясно высказывался в пользу косвенного, т. е. представительного правления. В 1791-м он говорил, что он не республиканец и что в известной монархии может быть больше свободы, чем в иной республике; это было правило Руссо, который говорил: Государь сам по себе, а монарх сам по себе; первый не исключает второго; первым может быть народ, и народное самодержавие вполне совместимо с наследственной монархией»

«Итак, Робеспьер не верил в конституцию 1793-го и желал учреждения представительного правления, чего-то в роде республики с президентством; потому он разошёлся сперва с *анархистами*<sup>[17]</sup>, которые боролись против властей Конвента за автономию Парижской Общины и имели предчувствие, хотя затуманенное дымом революционных пушек, об антигосударственной теории; затем он разошёлся и с дантонистами<sup>[18]</sup>, подозревая их в том, что они серьёзно хотят осуществления прямого правительства. Тогда он попробовал образовать правительственную партию и предложил в Конвенте, произведя предварительно очистку комитетов, усилить централизацию власти. Но умеренная и буржуазная партия в Конвенте, к которой он и обращался, хотя разделяла его виды, но не имела к нему доверия; эти честные люди, конечно, желали возвратиться к правлению не

прямому, а представительному, но не желали Робеспьера, а те самые люди, на которых он рассчитывал, как на союзников в своей попытке реакции, отступились от него и выдали его на мечь Горы[19]. Однако, пособив мятежникам погубить Робеспьера, большинство Конвента приняло программу низверженного государственника, напало на последних приверженцев прямого правления, поразила их и заменила конституцию 1793-го Директорией»

«В этом новом правительстве место Робеспьера было бы по всем правам рядом с Сьейесом, с Камбасересом и другими подобными, которые имели очень определённые понятия о прямом правлении и желали, как можно скорее вернуться к представительному, хотя бы затеваемая ими реакция против демократии привела их к империи. После 1830-го Робеспьер принадлежал бы к династической оппозиции, а после февраля 1848-го поддерживал бы временное правительство: наконец, ненависть его к атеистам и инстинктивное влечение к попам заставило бы его, вероятно, подать голос за римскую экспедицию»

В заключение этой долгой диатрибы Прудон сравнивает якобинцев 1848-го с якобинцами 1793-го и превосходно характеризует деятельность этой партии, «дважды погубившей революцию».

“ «Увы! Измена всегда приходит от своих».

«В 1848-м, как в 1793-м, революция была задержана своими собственными представителями. Наше республиканство, как старый якобинизм, всегда было буржуазной выкидкой без принципа и без плана; ему и хочется, и не хочется; оно постоянно ворчит, подозревает и всё-таки остаётся в дураках; оно всюду, вне своей категории, видит бунтовщиков и анархистов; копаясь в полицейских архивах, оно умеет находить там только слабости патриотов, вымышленные или же действительно случавшиеся[20]; оно запрещает культ Шателя[21] и поручает архиепископу парижскому петь молебны; во всех вопросах оно избегает называть вещи настоящим именем, чтобы не скомпрометироваться; откладывает все решения, ни на что не отваживается, питает недоверие к ясным доводам и к определённым положениям. Н опять ли это Робеспьер, этот болтун без инициативы, находивший, что Дантон слишком мужественен, порицавший его великодушную смелость, на которую чувствовал себя неспособным, державшийся в стороне 10-го августа, не выразивший никакого мнения о сентябрьской резне, подавший голос и за конституцию 1793-го, и за её

отсрочку до мира; осуждавший праздник Разума и устроивший Праздник Верховного Существа; преследовавший Каррье[22] и поддерживавший Фукье-Тенвиля[23], лобзавший утром Камиля Демулена[24] и приказавший вечером арестовать его; предлагавший уничтожение смертной казни и редактировавший прериальский закон[25]; обошедший одного за другим Сьейеса, Мирабо[26], Барнава[27], Петиона[28], Дантона, Марата, Эбера и затем гильотинировавший одного за другим и Эбера, и Дантона, и Петиона, и Барнава, первого за то, что он анархист, второго за то, что он умеренный, третьего за то, что он федералист, четвёртого за то, что он конституционалист; уважавший только правительственную буржуазию и отступническое духовенство; компрометировавший революцию то по поводу присяги духовенства, то по поводу ассигнаций, щадивший только тех, кто находил спасение в молчании или в самоубийстве; и павший, наконец, в тот день, когда оставшись почти один среди людей золотой середины, попытался в сообщничестве с ними обуздать революцию в свою пользу»

«Десятого августа 1792-го, когда монархия рушилась под ядрами предместий, Робеспьер и его якобинцы ещё держались за конституцию 1791-го, забрызганную кровью нансийских солдат[29] и патриотов Марсового поля[30]. Они занимались перестрелкой с высоты свой парламентской цитадели и боялись людей говоривших, что надо отправить к чёрту монархию с конституцией. Они никогда не могли простить смелым революционерам, особенно Дантону, который потащил их как ленивых псов на травлю конституционной монархии, тогда как они надеялись сделаться со временем её руководителями и распорядителями. *Конституция, говорил Робеспьер, удовлетворяет революцию*».

«Ненависть этой партии, опившейся кровью лучших граждан, преследует нас и теперь. Я могу примириться с людьми, потому что подобно им, подвержен заблуждениям; но с партиями никогда. Пусть же они продолжают, ибо, увы! Революция не так-то скоро освободится от уз. Мы охотно пожертвуем инициативой и более умеренным, лишь бы они свершили революцию. Мы скажем Робеспьеру, как Фемистокл Эврибиаду: *рази, клевет правительства, рази, сикофант Революции; рази, ублюдок Лойолы, тартюф Верховного существа, рази, но выслушай!*»

Считаем нужным прибавить, что мы не согласны с Прудоном относительно отречения от революционной инициативы в пользу противников – это была бы большая глупость. Впрочем, и со стороны Прудона это больше риторическое выражение.

Критика принципа власти в его древних формах, теократии, монархии, аристократии, - дело лёгкое, и она была сделана гораздо раньше Прудона, так что мы не считаем нужным останавливаться на ней. Гораздо важнее изобличить последнюю личину принципа власти в

форме *общего избирательного права* и так называемого *прямого законодательства*, и это то мастерски исполнил Прудон. Много хороших умов долгое время обманывались этими демократическими учреждениями, находя в них гарантию свободы и равенства, надо было, следовательно, показать, что такое общее избирательное право в приложении к политике; надо было раскрыть в прямом законодательстве последнее воплощение правительственной идеи.

Общее избирательное право может служить или для избрания доверенных лиц, или для заявления мнения по вопросам о принципах, и в последнем случае, результат его есть прямое законодательство.

Разберём сначала общее избирательное право в приложении к выбору народных уполномоченных.

Защитники представительной демократии говорят: Прежде недостаток власти состоял в том, что она принадлежала наследственно одному семейству или одному сословию, следовательно, не исходила от всего народа; но с той минуты, как весь народ участвует в назначении своего правительства и как правительство не имеет другой власти, кроме вверенной ему всеми гражданами, правительство перестаёт быть чуждым народу, перестаёт быть его повелителем; оно становится истинным выражением народной воли.

Эти защитники демократического правительства забывают, что верховная власть не может переноситься по уполномочию по той причине, что передавший её другому, сам непременно теряет её; стало быть, народ, передавший свою верховную власть выборным, тем самым отрекается от свободного распоряжения собой и перестаёт быть сам себе господином, ставя других своими повелителями.

Затем в сущности всё равно, учреждён ли этот повелитель соизволением Божиим или завоеванием, или собственным выбором народа; результат всё тот же – народ подвластен; им управляют; он повинуется.

На этой возражают, что уполномоченные народа, вышедшие из его верховной власти, не управляют, по крайней мере, против народа, ибо это противоречило бы самому происхождению их власти. Избранные, как наиболее способные, выражать и исполнять волю народа, они не могут действовать против тех, от кого получили своё полномочие

Однако опыт доказывает противное. Уполномоченные, облечённые властью, всегда очень мало обращали внимания на своих доверителей, кроме разве кануна выборов: они всегда предпочитали частные интересы общим. Сверх того, предположение, будто правительство, избранное общей подачей голосов, перестанет быть чуждым народу и будет верным выражением народной воли, это предположение, говорим мы, опровергается и теорией, и фактами. Возьмите из среды народа людей, которых вы считаете самыми близкими по чувствам к народу и которые, по-вашему, всего вернее будут представлять общую волю; сделайте этих людей правителями; если они согласятся принять эту роль, вы этим самым создадите для них новые чувства и интересы, совершенно отличные от чувств и интересов необходимости находится в полном противоречии интересов с управляемым, и не может

иметь с ними ничего общего ни в чувствах, ни в желаниях.

Притом, как мы показали в предыдущей главе, в обществе, где господствует экономическое неравенство, задача правительства, состоящая в защите *приобретённых прав*, в охранении существующего порядка, по необходимости должна быть направлена к охранению имущего класса против неимущего, капиталиста против требований работника; правительство по необходимости является щитом эксплуататора, палачом эксплуатируемых. По горькой иронии логики фактов искренние демократы, принявшие правительственное полномочие с твёрдым и добросовестным намерением служить народному делу против кастовых привилегий, вынуждены были силой своего правительственного положения сделаться союзниками и сообщниками эксплуататоров, которых сами проклинали, и отправлять свою роковую власть единственным способом, которым она может отправляться, т. е. против свободы.

И не ясно ли в самом деле? Может ли власть, не налагая сама на себя рук, действовать против своего собственного начала? Не есть ли она прямое отрицание свободы? И неужели трудно понять, что всякое намерение сохранить свободу под властью, учредить *власть либеральную*, охранить свободу помощью какой-нибудь власти – есть противоречие, нелепость?

Но разберём до конца рассуждение правительственных демократов.

Народ, говорят они, обеспечен против измены своих правителей; как скоро они перестали выражать его волю, он выбирает на их место новых. Исходя из этого положения, старались усилить гарантии народной свободы сокращением срока депутатского полномочия и даже требовали, чтобы депутат мог быть во всякое время отрешён своими избирателями.

Но эта гарантия призрачна. Действительно, новые депутаты, избранные народом, роковым образом становятся тотчас по избрании точно тем же, чем были отрешённые депутаты; в них воплотился принцип власти, и во имя этого принципа они действуют; сама природа вещей требует, стало быть, чтобы деятельность их шла в ущерб свободе граждан. Пришлось бы вечно начинать сызнова; народу опять придётся переменять своих выборных, опять выбирать новых, которые при столь же благородных намерениях, как и прежние, будут опять представителями правительственного принципа, стало быть, защитниками власти, эксплуатации и привилегии.

Предлагают ещё средство. Народный выборный должен быть связан *условным полномочием* [31].

В таком случае нельзя сказать, что народ отчуждает свою власть, отрекается от неё, так как он сам является здесь выражать свою волю, и его уполномоченный есть не более как его глашатай. Прекрасно. Но ведь каждый уполномоченный представляет лишь часть народа, лишь свою избирательную коллегия, и возможно, что их условные полномочия окажутся в противоречии между собой. В таком случае восторжествует большинство уполномоченных, и та часть народа, которую представляет меньшинство, воля их будет поправа.



Если бы даже каждый уполномоченный служил выражением своего народа или, что тоже, если бы был только один уполномоченный, которому весь народ дал бы условное полномочие, то и тут неизбежно окажется насилуемое меньшинство, ибо в виду противоречия интересов, создаваемого нашим порядком социального неравенства, было бы нелепо допустить, что все граждане окажутся единодушными.

Итак, при системе уголовного полномочия неизбежно оказывается, что одна часть граждан должна против воли подчиняться закону, который навязывает ей воля другой части граждан; стало быть, это опять принцип власти во всей его первобытной широте.

Стоит ли разрушать абсолютную монархию и провозглашать верховную власть народа из-за того только, чтобы монархический произвол заменить насилием депутатского большинства?

Но кроме этих возражений, есть другие, о которых мы до сих пор не говорили, но которые вероятно сами собой представились читателю. Не говоря уже о том, что народные выборы не могут служить искренним выражением народной воли вследствие экономической подчинённости большинства избирателей, есть много других практических невозможностей. Каким образом, например, может народ удостовериться в способности тех лиц, которых ему приходится уполномочивать? Если бы в рабочей ассоциации приходилось решить вопрос, кто из членов наиболее способен выполнить известную промышленную должность, избиратели-работники не рисковали бы ошибиться в выборе, так как им приходилось бы судить о вопросе, не выходящем из пределов их специальных ремесленных сведений. А здесь хотят, чтобы народ, т. е. совокупность этих работников, из которых каждый компетентен только в своей специальности, решил сознательно вопрос, не имеющий ничего общего с его ежедневной практикой, с его знаниями, с его сознанием! Всякий согласен, что сапожник некомпетентен в выборе лучшего гравера, гравер в оценке способности каменщика; а здесь хотят, чтобы эти сапожники, граверы, каменщики, признанные в экономических вопросах некомпетентными вне своих специальностей, явились в вопросе политическом одарёнными каким-то чудом, даром оценивать способности и сознательно делать выбор!

“ «Народ, говорит по этому поводу Прудон – народ (я говорю о народе, каким он является на форуме[32] и в избирательных урнах) – народ, к которому в феврале не посмели бы обратиться за его мнением о республике; народ, который 16-го апреля и после июньских дней огромным большинством высказался против социализма; народ, избравший Луи Бонапарта из благоговения к императору; народ, назначивший, увы! – Учредительное Собрание, а потом Законодательное, да! – народ, не вставший 17-го июня[33], не пикнувший 31-го мая[34]; народ, подписавший адреса и за, и против пересмотра конституции – этот народ предполагается осенённым свыше знанием и пониманием, чтобы выбирать между гражданами добродетельнейших и способнейших и уполномочивать их организовать Труд, Кредит, Собственность, Власть! И его выборные, вдохновленные его

премудростью, предполагаются непогрешимыми! Полноте, будемте откровенны! Общее избирательное право, условное полномочие, ответственность представителей – всё это пустяки; я им не доверяю моего труда, моего спокойствия, моего состояния; для защиты их я не рискну ни одним волосом с моей головы».

Остаётся рассмотреть, что даст общее избирательное право в приложении не к выбору представителей, а к решению самим народом законодательных вопросов. Это система, провозглашённая конституцией 1793-го, постановившей, что законы должны утверждаться народным голосованием; в 1848-м году её опять ввёл в моду под именем прямого законодательства один немец, господин Риттингаузен[35].

Предоставим слово Прудону:

“ «Не буду повторять, говорит он, относительно применения общего избирательного права к вопросам законодательным, старых возражений против решений, исходящих из совещательных собраний, например, то, что в них одного голоса достаточно для составления большинства и что, следовательно, этот один голос делал бы закон; перейдёт этот голос направо, законодатель говорит: да; перейдёт он налево, законодатель говорит нет. Эта парламентская нелепость, составляющая главное орудие политического мошенничества, будучи перенесена на поприще народных выборов, вызвала бы после бесчисленных скандалов страшные столкновения. Народ-законодатель вскоре опротивел бы сам себе. Пропуская эти возражения, я останавлиюсь только на коренной ошибке этой теории, ведущей разумеется к полному разочарованию в этой теории мнимо-прямого законодательства»

«Господин Риттингаузен ищет, хотя и не говорит этого, общей, коллективной, синтетической, нераздельной идеи народа, рассматриваемого не как толпа, не как фикция, но как живое высшее существо. К этому вела теория самого Руссо. Чего он хотел и чего хотят его последователи своим общим избирательным правом и своим законом большинства? Они хотят определить с наименьшей ошибкой общее и безличное мнение и полагают, что мнение большинства наиболее к нему приближается. Таким образом, господин Риттингаузен полагает, что подача голосов о законе всего народа ближе будет к этому идеальному общему и безличному мнению, чем простое большинство представителей. В этой гипотезе и состоит вся оригинальность и всё нравственное достоинство его теории»

«Но я скажу ему: Как могли допустить Вы мысль, что можно знать мысль одновременно частную и общую, коллективную и индивидуальную, одним словом, синтетическую – путём подачи голосов, т. е. официальной формулой разномыслия? Согласный хор ста тысяч голосов едва мог бы дать вам смутное представление о народном существе. Но сто тысяч голосов, переспрошенных порознь и отвечающих каждый сообразно своему личному мнению: сто тысяч голосов, поющих каждый про себя и на разные тоны, составят только ужасающую нескладицу, и чем больше будет голосов, тем ужаснее будет нескладица. Чтобы приблизиться к коллективному мнению, которое есть самая сущность народа, вам остаётся только собрать мотивированные мнения всех граждан, затем прочесть их все, сравнить мотивы, свести, насколько возможно, подходящие мнения к одному, наконец, вывести из них более или менее точным выводом синтез, т. е. общую мысль, мысль высшую, которую одну только и можно приписывать всему народу. Но сколько времени потребует подобная операция! Кто возьмётся за этот труд? Кто поручится за верное исполнение его, за точность результата? Какой логик примет на себя извлечь из этой избирательной урны, содержащей только пепел, живое и животное начало, Народную Идею?»

«Очевидно, эта задача неразрешима. И господин Риттингаузен, установив сначала прекрасные правила неотъемлемого права народа самому узаконять свои законы, кончает, как все политические деятели тем, что обходит затруднение. Оказывается, что вопросы *ставит* уже не народ, а правительство. На вопросы, поставленные правительством, народ может отвечать только *да* или *нет*, как ребёнок по катехизису. Народ не имеет даже права предлагать перемен в предложениях правительства».

«Да иначе и сделать нельзя в этой системе *разногласного законодательства*, если хотеть добиться хоть чего-нибудь от толпы. Господин Риттингаузен охотно сознаётся в этом. Он признаёт, что если бы народ, созданные в комиции[36], мог предлагать изменения в вопросах или, что ещё важнее, сам ставить вопросы, то прямое законодательство было бы утопией. Чтобы это законодательство было практически возможно, надо, чтобы самодержец имел выбор между двумя положениями, из которых, следовательно, одно должно заключать в себе всю истину и только истину, а другое всю ложь и только ложь. Если бы одно из них заключало в себе больше или меньше истины, больше или меньше лжи, то самодержец, обманутый вопросом, дурно поставленным его министрами, неизбежно отвечал бы глупость».

«Между тем, в вопросах общих, обнимающих интересы всего народа, строгая постановка дилеммы – дело невозможное; так что, стало быть, как ни ставь вопрос народу, он непременно даст ответ нелепый».

Здесь Прудон приводит в примере несколько вопросов, которые были бы предложены народу, и ответы, которые народ дал бы на них; эти примеры он заимствует у самого господина Риттингаузена; в заключение он говорит:

“ «Ясно ли, что это прямое законодательство ни что иное, как постоянная передержка? Из ста вопросов, предложенных народу правительством, девяносто девять были решены так, как мы показали на примерах; и господин Риттингаузен, как логик, не может не видеть причины этого; она состоит в том, что вопросы, предлагаемые народу, суть обыкновенно вопросы *специальные*, между тем как народ может давать лишь ответы *общие*. Механический законодатель, обязанный повиноваться дилемме, не может изменять формулу согласно правде места, времени, обстоятельств; ответ его, рассчитанный на народную фантазию, всегда можно знать заранее, и каков бы он ни был, он непременно будет ложен».

К этим возражениям надо прибавить то, которое мы только что привели против условного полномочия и которое составляет главный аргумент прямого законодательства; а именно, что всякое законодательство исходит из принципа власти и, стало быть, закон, изданный непосредственно самим народом, всё-таки остаётся *законом*; как ни меняй формы, результат всё тот же, т. е. подчинение личностей высшей воле, наложение на них обязательств, которых они добровольно не принимали. После того, не всё ли равно, как называется законодатель и кто он – Минос, Ликург, Конвент, Парламент или Ландсгемейнде, Земская Община, т. е. народ в комициях. Мы хотим совершенного уничтожения законодательной функции, замены закона договором и когда шарлатаны являются с предложением прямого законодательства, как последнего слова демократического прогресса, мы видим в нём только приведение к абсурду правительственной и политической идеи. Действительно, личность законодателя здесь расширена до того, что вмещает в себя весь народ, а результат остаётся всё тот же, и продукт коллективного законодателя оказывается столь же разрушительным для свободы, как и продукт личного законодателя; другими словами, закон, делаемый народом, в сущности, ничем не отличается от закона, делаемого государем; и тот и другой равно утверждение власти; из чего следует, что необходимо, значит, выйти из этого принципа, что закон – вещь отпетая, что он несовместим со свободой и что новый порядок, порядок экономический, осуществление свободы, должен основаться на отрицании закона и правительства.

Интересно будет заметить, что вопрос о прямом законодательстве, который можно бы считать погребённым, казалось, после бесплодной агитации его приверженцев во время февральской республики[37], снова всплыл несколько лет тому назад, и гражданин Риттингаузен при содействии нескольких коммунистов из немцев пытался на рабочем конгрессе в Базеле в 1869-м ввести его в программу Международного Общества [рабочих]. Но энергичная оппозиция бельгийцев, французов и юрцев устранила эту попытку. По этому

поводу глава немецкого социализма, гражданин Либкнехт, бывший в Базеле делегатом Эйзенахского конгресса, воскликнул, что только реакционеры могут быть против теории прямого законодательства. На это один бельгийский депутат отвечал, что прямое законодательство может служить лишь к упрочению правительственного порядка, тогда как Международное общество [рабочих] стремится к уничтожению всякого правительства, каково бы оно ни было.

Заметим, что прямое законодательство действует с незапамятных времён в древнейших кантонах Швейцарии, где существовало рядом с патрициатом, нисколько не препятствуя его влиянию и привилегиям; оно не помешало экономическому порабощению и религиозному одурению этого народа, который политические теоретики называют свободным, но который в действительности, менее свободен, чем любой другой народ в Европе.

Несколько лет тому назад *либеральные* кантоны – Цюрих и Базель (сельский) – также ввели в свои конституции прямое законодательство, и цюрихские работники, заражённые учением немецкой социал-демократической партии, вообразили, что обрели в этом учреждении панацею. Но они начинают подозревать, что обманулись, так как их экономическое положение не улучшилось ни на йоту. Будем надеяться, что рабочие больше не станут забавляться этими бесполезными опытами и что истина, так блистательно доказанная Прудоном и потом так громогласно провозглашённая Международным Обществом [рабочих] – та истина, что вся сущность революции состоит в отрицании правительства – вступить наконец из области теоретической в область фактов.

Прежде чем подвести итоги об этой главе, надо показать, каким образом Прудон излагает преемственный ход антиавторитарной идеи, её первое появление и её развитие.

По его мнению, первым отрицанием идеи власти был Лютер. Но его отрицание не шло далее религиозной области. Его отрицание называлось *свободным исследованием*.

После Лютера принцип свободной критики был перенесён из религии на светские дела протестантами же, а именно гугенотским священником Жюрьеном. Верховной власти по божественному праву, высокопарным защитником которой был Боссюэ[38], Жюрьен противопоставил самодержавие народа и в первый раз употребил выражение *Общественный Договор*.

Затем Руссо и якобинцы снова запутали вопрос, исказив идею общественного договора и восстановив правительственную торию. После того антиавторитарная идея была восстановлена, хотя в робких выражениях и со смутным пониманием, отцом новейшего социализма, Сен-Симоном.

“ «Род человеческий, писал он в 1818-м году, был призван жить сперва под порядком *правительственным и феодальным*».

«Ему было предназначено перейти из-под правительственного или военного порядка под порядок *административный* или *промышленный*, после того как он сделал значительные успехи в положительных науках и индустрии».

«Наконец, по организации своей ему суждено было выдержать продолжительный и сильный кризис при переходе от военной системе к мирной».

Наконец, Прудон взял идею, покинутую учениками Сен-Симона, не понявшими главной мысли своего учителя, и развил её во всей силе её отрицания, дав ей имя *ан-архии*; таким образом, он сделался самым блестящим из её представителей.

Жюрьен вывел своё отрицание правительства из юридической теории договора; Сен-Симон – из исторического наблюдения и из воспитания человечества; Прудон, по его собственным словам, пришёл к нему анализом экономических функций и теории кредита и обмена.

Скажем несколько слов по поводу оценки протестантов у Прудона. Прудон всегда имел слабость к богословию и охотно готов был приписывать богословским препирательствам значение, которого они никогда не имели. Лютер и немецкие протестанты никак не могут считаться представителями свободы. Истинными её представителями в XVI-м веке были гуманисты и атеисты Возрождения; реформа Лютера и Кальвина будучи борьбой против известных обрядов и догматов католической церкви, была в тоже время реакцией против духа Возрождения, против того, истинно человеческого направления, представители которого были Эразм Роттердамский, Ульрих фон Гуттен, Томас Мор, Франсуа Рабле. Впрочем, сам Прудон делает оговорку относительно Лютера: «Лютер, говорит он, подобно Лейбницу, Канту, Гегелю, был человек убеждений вполне правительственных».

---

Версия #1

Зверобой создал 11 апреля 2025 18:27:29

Зверобой обновил 11 апреля 2025 18:31:35